

Это пишет тот же Садовников. Он лишь передаёт общее ощущение, подтверждаемое и другими слушателями: «Не я одна — весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий».

Рукоплескания всё же загремели — ещё до конца чтения. Они «как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились всё громче, всё продолжительнее. Тогда он поднялся... и, сделав общий поклон, опять стал читать»²⁵.

«Такого чтения я не слышал никогда, ни прежде, ни потом, — говорит ещё один очевидец. — Это было не чтение, не актёрская игра, а сама жизнь, — больной эпилептический бред»²⁶. (Кажется, в первый и последний раз та самая формула («эпилептический бред»), которую без зазрения совести прилагали к автору «Карамазовых» желавшие *обругать* его критики, употреблена в качестве *комплимента*.)

Теперь А.П. Философова уже не жалела, что он не исполнил её просьбы. «Боже, как у меня билось сердце... Я думаю, и все замерли... Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть и, когда на другой день пришёл Фёдор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

— Хорошо было? — спрашивает он растроганным голосом. — И мне было хорошо, — добавил он»²⁷.

Это была победа. Новый роман, только начатый, ещё «дымящийся», получал первое признание.

«Когда он кончил, — пишет К.П. Ободовский, — все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший $\frac{1}{4}$ часа, потряс залу»²⁸.

Его вызывали пять раз.

ЧЕМУ РАДОВАЛСЯ СТРАХОВ?

В чём же причины этого небывалого успеха? В личности ли самого чтеца, которая, конечно, оказывала колоссальное воздействие на аудиторию, в художественных ли достоинствах

произносимого вслух текста или ещё в чём-то неназванном, но смутно сознаваемом? Разумеется, эстетический эффект был сам по себе достаточно впечатляющ. Но, видимо, не только он решал дело. В конце концов, у Достоевского были и другие романы — со страницами не менее сильными, и он читал их с эстрады, но никогда прежде не добивался ничего подобного.

«В нашей вялой форменной жизни, — писал «Голос», — так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление...»²⁹

Дело было во времени.

Отзывчивая ко всякому духовному движению русская публика 1879 года чутко улавливала в бытовых и любовных линиях нового романа тот самый подспудный «мировой» смысл, который входил в плоть и кровь поколения, в состав самой жизни, споткнувшейся в своём мерном течении и поставившей, как любил говорить Достоевский, вопрос «у стены»: что дальше? «И вдруг, — пишет Тимофеева, — всё в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту...»³⁰

Немало удивился бы Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, если бы вдруг узнал, что то, о чём он мрачно повествовал с эстрады, каким-то странным образом «замыкалось» на новый роман его давнего идейного оппонента. Но именно так восприняли это слушатели. Время как бы совокупило смыслы, обретавшиеся вдали друг от друга, и устремило их к общему — пусть отдалённому — горизонту. Сиюминутное, насущно необходимое и «конечное», общемировое естественно входило в единый круг жизни, не противоборствуя, но перекликаясь между собой.

К «ненормальным» карамазовским разговорам начинали жадно прислушиваться.

И хотя Тургенева, мастерски прочитавшего «Бурмистра», приняли не менее восторженно, его успех имел совсем иной характер. В Тургеневе чтити прошлое (да и сам рассказ, выбранный им для чтения, был почти тридцатилетней давности); его чествовали как славную, но уже отчасти «музейную» национальную реликвию.

В Достоевском — угадывали будущее.

Вечер 9 марта сделался событием. И Николай Николаевич Страхов, аккуратно извещавший Л. Толстого о новостях

столичной жизни, не преминул отметить это обстоятельство. «И здесь, и в Москве очень много возились с Тургеневым, — пишет он 11 марта в Ясную Поляну. — Третьего дня было литературное чтение, и меня порадовало, что публика встретила Достоевского с таким же восторгом, как Тургенева, — Салтыкову же хлопали очень мало»³¹.

О том же спустя месяц Страхов пишет А.А. Фету: «У нас здесь восхищались Тургеневым и Достоевским. Вы, верно, читали описание этих неслыханных торжеств. Достоевский в первый раз получил овации, которые поставили его наряду с Тургеневым. Он очень рад»³².

Но вот вопрос: рад ли сам Страхов? Вернее, радуется ли он за Достоевского? Об их отношениях речь впереди. Здесь же заметим, что Страхову неплохо удавалось скрывать глубоко затаённую неприязнь к своему давнему приятелю. Недаром Микулич, сумевшая, как мы помним, несмотря на свои юные годы, подметить глубокий контраст между Страховым и Достоевским, тут же преспокойнейшим образом замечает: «Елена Андреевна (Штакеншнейдер. — И.В.) очень любила Достоевского и благоговела перед его умом и талантом. Но, сколько мне помнится, только она да Страхов так любили его»³³.

Елена Андреевна действительно любила автора «Карамазовых»: об этом убедительно свидетельствуют её дневниковые и мемуарные записи. Страхов, будучи сам человеком умным и тонким, остро восприимчивым к чужой одарённости, конечно же, понимал, *что есть* Достоевский. Однако *любить* его он не мог (о чём в свою очередь свидетельствуют как его воспоминания, так и печально знаменитый к ним комментарий — письмо Толстому от 28 ноября 1883 года). Не исключено, правда, что порою он пытался себя *заставить* (борясь, по его собственным словам, с подымавшимся в нём отвращением), но — безуспешно.

Перед Толстым можно было «обнажиться» — и он признаётся ему (в том же письме от 11 марта, где он *радуется*, что публика горячо встретила Достоевского): «Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми, но Вы — человек...»³⁴

Чему же тогда радуется Страхов? Да только тому, что Достоевский получил перевес против Салтыкова и равенство с Тургеневым как представитель известного направления. Для него существенно лишь то, что разъединяет Достоевского с Тургеневым и Салтыковым, и он знать не хочет ничего о том, что сближает всех троих в глазах рукоплещущего зала.

Эта тяга к сближению, продиктованная не столько доводами рассудка, сколько мощным общественным инстинктом, будет прокладывать себе дорогу через бурные перипетии 1879–1880 годов, чтобы явить всю силу и всё своё бессилие в упоительные дни пушкинских торжеств. Но это произойдёт ещё не скоро. А пока овации петербургской публики не в состоянии заглушить того «неверного звука», который неизбежно должен был возникнуть при сопряжении в одном жизненном круге таких диссонирующих величин, как Тургенев и Достоевский.

Скандал разразился через три дня.

ВЕЧЕР ВТОРОЙ (ТУРГЕНЕВСКИЙ ОБЕД)

Через три дня состоялся традиционный литературный обед. Литературные обеды вошли в моду совсем недавно. «Припоминаю, — пишет Анна Григорьевна, — что в начале 1878 года Фёдор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в “Малоярославце” и др.... Здесь Фёдор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Фёдор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбуждённым и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах»³⁵.

Возбуждение Достоевского понятно: встреча с литературным врагом (тем паче «заклятым») всегда вызывает известный душевный подъём.

Натурально, обеды устраивались не с этой целью: они имели в виду соединить — хотя бы за пиршественным столом — разрозненные культурные силы. «Обеденная территория» должна была являться в этом смысле ничейной землёй.

Местом встречи был избран ресторан Бореля на Большой Морской.

На сей раз застолье сильно отличалось от ежемесячных трапез, устраиваемых петербургскими литераторами в своём достаточно узком кругу. Прежде всего — чрезвычайным многолюдством: присутствовали более ста человек. Помимо известных и менее известных представителей изящной словесности и сотрудников столичной прессы здесь находились артисты императорских театров, университетские